

Павел Иванович Мельников-Печерский

Поярков



Павел Иванович Мельников- Печерский Поярков

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377495
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести,
рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей
Печерский).: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-52030-5*

Аннотация

«Сначала подумал я, что если это не закоренелый мошенник, так, по крайней мере, плут и уж наверное пьяница. Недаром говорится: вор слезлив, плут богомолен. Но, вслушиваясь в звуки речей, всматриваясь в лицо Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизого носа, ни багровых пятен на щеках, ни мутности в глазах, ни отека в лице, ни одного из признаков знакомства с чарочкой не было. Напротив, в глазах выражалось много ума и благодушия, в лице – много твердости характера...»

Павел Иванович Мельников-Печерский Поярков

Ехал я большой торговой дорогой, обсаженной березками. Тут когда-то был почтовый тракт, потому и обсадили его. Торный путь набит сажень на шесть в ширину, и обозы по нем взад и вперед тянутся беспереводно, друг дружке не мешая, а широкая тридцатисаженная дорога впусе лежит; давно отдана в распоряженье гуртовщиков, что гоняют скотину из уральских степей с Нарын-Песков, с ярмонки у Ханской Ставки.

Проехав версты четыре, ямщик остановился, слез с козел, стал поправлять упряжь на коренной и по-свистывать пристяжной. Колокольчик замолк. В стороне послышался дрожащий старческий голос: *Блажен муж, аллилуия, иже не иде на совет нечестивых, аллилуия, аллилуия.*

Я оглянулся: у дороги под ракитой сидел старичок в изношенном сюртуке, с котомкой за плечами; на траве возле него клюка и кожаный картуз. Утреннее солнце ярко освещало пепельного цвета лицо его и раскинутые по плечам седые, как лунь, волосы.

– Кто бы это? – сказал я путевому товарищу.

– Богомолец. И верно из дворовых. Был псарем либо музыкантом у богатого барина, век свой брил бороду, ходил в форменном казакине, до седых волос звался Мишкой либо Гришкой и служил верой и правдой. А как пришла старость, руки-ноги стали отставки просить, да увидал Гришка, что во дворне он лишним стал: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то в застольной место ему на сажень от чашки – бух в ноги барину: «Увольте в Клев ко святым мощам на поклонение да к святителю Митрофанию». Таких много по большим дорогам.

Завидя нас, старик подошел и низко поклонился.

– Не в Ключищи ль изволите ехать, ваше высококородие? – спросил он.

– В Ключищи, а что?

– Окажите милость старику; позвольте на облучок присесть. Дело хворое – ноги болят. Сам бог не оставит вас.

– Садись, пожалуй, да ты кто такой?

– Титулярный советник Поярков.

– Садитесь, пожалуйста... Да куда ж вы? Вот здесь. Тарантас широк, троим не будет тесно.

– Помилуйте, ваше высококородие, смею ли я?.. Не извольте так много беспокоиться.

Насилу уговорил его сесть с нами.

– Где служили? – спросил я, думая, что это один из оставленных за штатом чиновников... Их тоже довольно на больших дорогах.

– Приставом второго стана Пискомского уезда Холмогорской губернии.

– Долго служили?

– Больше десяти лет. А до того секретарем земского суда был, письмоводителем в городническом правлении – все в полицейских должностях...

«Десять лет становым – и на большой дороге нищим! Чудеса!..» – подумал я.

– Отчего ж не продолжали службу?

– Я-с... отрешен от должности с тем, чтоб впредь никуда не определять.

– Чем же занимаетесь?

– Как вам доложить?.. Ничем-с... По святым обителям странствую... Работать не могу – года уж такие.

– Частной бы должности поискали...

– Нельзя-с.

– Отчего?

– Указом Правительствующего Сената объявлен ябедником, хождение по частным делам воспрещено... К другому ни к чему не приобик. Оно, конечно, вона теперь много мест по пароходству на Волге и в компаниях, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да с моим аттестатом кто

возьмет?

«Вот подхватил я гуся лапчатого», – подумалось мне.

– А впрочем, благодарю создателя, что не попал на место, – заговорил Поярков после короткого молчания, – а то не сподобил бы господь столько святыни видеть и недостойными устами своими к ней прикосаться, не привел бы узнать матушку Русь православную, как живет, как думается народу. Был я, ваше высокородие, в Клеве и у Почаевской Богородицы, в Воронеже и в Соловках, у Кирилла Белозерского, у Симеона Верхотурского, вокруг Москвы везде, – всю почти Россию пешком выходил. А ведь нашему брату, убогому страннику, в дворянские да в чиновничьи дома ходу мало: у мужичков больше привитаем, от их трапезы кормимся. От них-то и узнал я русский народ... Познавать его ведь можно только лежа на полатах, а не сидя за книгами да за бумагами, да разъезжая по казенной надобности.

Сначала подумал я, что если это не закоренелый мошенник, так, по крайней мере, плут и уж наверное пьяница. Недаром говорится: вор слезлив, плут богомолен. Но, вслушиваясь в звуки речей, всматриваясь в лицо Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизого носа, ни багровых пятен на щеках, ни мутности в глазах, ни отека в лице, ни одного из признаков

знакомства с чарочкой не было. Напротив, в глазах выражалось много ума и благодушия, в лице – много твердости характера.

– Послушайте, господин Поярков, – сказал я, – скажу вам прямо: вы меня удивляете... По вашему лицу, по вашим речам не видно, чтоб вы были...

– Шельмованный негодяй? – перебил Поярков. – Не ропщу на суд человеческий: творился он волею божией. Поделом я наказан.

– Но...

– Как ни будь крив суд человеческий, – перебил меня Поярков, – все-таки он творится по божьему велению.

– Бывает однако, что невинные страдают!

– Бывает, что судье мзда глаза дерет, бывает, что судья неопытен и дела не разумеет, вершит не по закону, не по совести... Так... Но поверьте, что за каждым невинно осужденным были другие грехи, до людей не дошедшие, а к богу вопиявшие. За эти-то тайные грехи и осуждается человек под предлогом таких, каким он не причастен... На человеческом суде всего один только раз был осужден не имевший греха. Судьей тогда был Пилат.

Правда, – продолжал Поярков, – судья, что плотник: что захочет, то и вырубит, а у всякого закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь. Да ведь и

над судьей и над подсудным есть еще судия... Неужли он допустит безвинно страдать? Не палач он людей, а весь – любовь бесконечная... Судья делом кричит, волю дьявола тем творит, на душу свою грех накладывает, а в то же время, по судьбам божьего правосудия, творит и волю правды небесной, за ту вину карает подсудимого, которой и не знал за ним. Такто на всякую людскую глупость находит с неба божья премудрость.

Хоть об своем деле вам доложу. Отрешен от должности вот за что. В деревне баня загорелась, ее раскидали. Подают объявление о пожаре: до деревни восемьдесят верст, а у меня сорок важных дел на руках, в том числе пятнадцать арестантских. Становому всех обязанностей исполнить нельзя, будь у него в сутках сорок восемь часов. Потому и держат они вольнонаемных писцов. Набирают их из вольноотпущенных, исключенных из духовного звания, из службы выгнанных, из лиц, состоящих под надзором полиции. Они и заправляют делом, а становой тем только занят, что поважнее да прибыльнее. И у меня человек с пяток таких было. Одного и послал я на следствие о пожаре; он допросы снял, дело как следует очистил, я подписал, в уездный суд представили, решили там: «предать воле божьей». А мужичонка, бани хозяин, кляузник был, подал губернатору жало-

бу: был-де у меня поджог, а такой-то отпущенник поджигателей скрыл. Губернского чиновника прислали, тот нашел, что мужик врет, поджога никакого не бывало, а следствие в самом деле отпущенник производил, а я на нем учинил фальшивую, значит, подпись и совершил допросы и очные ставки задним числом... Подлог, значит!.. Губернатор был внове, а нова метла чисто метет – под суд меня. В уголовной 391 статейку и подвели: «лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь на поселенье». Подмазал – смилостивились: уменьшающие вину обстоятельства нашли, решили «уволить от должности». А тут другое дело завязалось: «о похоронении на огороде без священнического отпевания некрещеного младенца матерью его, состоящую в расколе». Другой чиновник приехал. Прикосновенными были государственные крестьяне, стало быть, надо депутата. Чиновник меня и просит: «Нельзя ли, говорит, поскорей депутата прислать, всего бы лучше безграмотного прислать, да прислал бы свою печать поскорее, мы бы дело-то разом кончили. У нас, видите ли, говорит, на будущей неделе в Хохломске благородный театр будет, я, говорит, с губернаторшей «Женщину-лунатика» представляю, так достаньте, пожалуйста, поскорее депутата, да непременно безграмотного». Написал я к волостному писарю записочку, выслал бы такого-то старши-

ну к чиновнику. Года через три попадись эта записка к моим лиходеям. Завели новое дело «о разглашении тайны», под 453 статью меня: за сообщение бумаг, отмеченных надписью «секретно», – отрешение от должности. Ведь изволите знать, что каждая бумага про раскольников, какая ни будь пустячная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базаре про дело толкуют, а ты «секретно» пиши... По совокупности преступлений меня и приговорили – отрешить от должности, чтобы впредь никуда не определять. Кому ни рассказать – всяк подумает, что не по вине страдаю. А осужден я достойно и праведно.

Теперь так говорю, когда господь умягчил мое сердце, а в те поры мыслил другое... Когда отрешили меня, остался я, на старости лет, без куска хлеба. Еще слава богу, что ни передо мной, ни за мной никого тогда не было – один как перст. Конечно, деньги были, да лихом нажитое прочно не бывает, – что было нажито, мирской слезой облито, а мирская слеза у бога велика. Под судом бывши истерялся: суд ведь доуку да деньги любит; да и жил-то широконько – привык, знаете, к хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не мог. В картишки любил поиграть, ну и выпала мне такая линия, что дело хоть брось – ни иголки с елки, ни иконы – помолиться, ни ножа, чем зарезаться. Работать сил нет: и годы стары и руки мягки, а мягки-то руки чужой

хлеб в рот кладут, а печь своего не умеют. Так горько пришлось, так прискорбно, что руки на себя хотел положить.

И вот злость-то какая во мне была: пришел к проруби топиться; о душе, об ответе на Страшном суде на ум не приходит, а про чуваш вспомнил, как они недругу «суху беду делают». На кого зол, пойдет к тому да у него на дворе и удавится, суд бы на него навести... И стал я думать, какая же мне польза, ежели утоплюсь – унесет меня под вешним льдом и не знай куда, где-нибудь сыщут, в губернских ведомостях напечатают, найдено-де неизвестное мертвое тело, и станут вызывать наследников или владельцев с ясными на принадлежность онаго доказательствами. Нет, думаю себе, коли класть на себя руки, так уж с тем, чтоб лиходею суху беду сделать: пусть же знает, что безрога корова и шишкой бодает. А лиходеем почитал губернатора, что велел меня под суд отдать. И такое веселье враг вложил в меня, что с проруби-то я ровно с праздника воротился.

Сведал, что у лиходея дельце есть тяжebное. В Малороссию верст тысячу пешком отшагал и усталости не знал – вот какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездетный был, имения тысячи две душ благоприобретенного. Покойник жене завещал его, а мой лиходей стал духовную оспаривать. Вот, думаю, при-

вел же господь поплатиться да еще и за правду постоять. Взял у тетки доверенность, ездил, хлопотал, писал и «записался»... У племянника-то, у губернатора, то есть, сильна протекция была: тетку по миру пустил, а мне хождение по делам воспретили...

Указ застал меня в Малороссии. Денег ни копейки, деваться некуда. Опять хотел руки на себя наложить, опять к реке пошел; но тут господь мне помощь явил... Встретился я со старцем, сказывал, что идет он из Киева в Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, но человек божий и дар прозорливости имел. Стал разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книге вычитал. И сам не знаю, что со мной сделалось; заплакал я – благодать-то божия коснулась окаменелого сердца. «Научи, говорю, старче, как горю помочь». – «Ступай, говорит, в Киев, помолись Иоанну Многострадальному, и твоим страданьям будет конец».

Слова старца умилили мое сердце; в тот же день побрел я в Клев. Много раз хотел с дороги воротиться, враг-от действовал. У самых даже ворот монастырских смутил он меня, такую тоску нагнал, что хотел было я, не заходя в святую лавру, на Днепр да в воду. Но за молитвы праведного старца, давшего мне благой совет, избавил господь от врага... И сам не помню, как очутился у мощей Иоанна Многострадального... И тут во мне ровно что просияло, и заплакал я

сладкими слезами... Мерзка и нечестива показалась мне прошлая жизнь! Вот теперь, девятый год по обету, данному в киевских пещерах, странствую по святым обителям.

Между тем подъехали мы к Ключищам. Старик спешил туда к храмовому празднику. В церкви того села стоит чудотворная икона, и к ней на поклоненье из окрестных мест сходитя много богомольцев. После обедни залучил я к себе Пояркова. Слово за слово, зашла речь про быт уездных чиновников. Вот что он рассказал:

– Кто кого сильней да важней в уездном городе, – вы не так говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого в уезде больше – в табель о рангах не смотрите; там своя табель. Первое место в городе – управляющий откупом: будь он чиновником, будь борода – все одно. Ему и честь и уваженье, его и в кумовья зовут и на свадьбы в отцы посаженные. Каждый божий праздник все от обедни к нему на закуски, каждое первое число всем чиновникам он шлет и вина, и пива, и меду, и наличными много ль кому следует, по «расписанью». Вот это самое расписание и есть табель о рангах: кому откупщик больше платит, тот чиновник важнее, силы в нем больше. Важнее всех, конечно, исправник, а ежели город большой, богатый, купцов живущих в нем много, аль ярмонки при нем знатные

есть, – то городничий. Если же город не важный, то городничий последняя спица в колеснице, и знать его никто не хочет, и не слышать совсем про него; только что в мундирный день в соборе на первом месте станет – в том и весь его авантаж. После исправника – становой, потом секретарь земского суда да секретарь уездного. Эти люди первые, за ними пойдет мелкая сошка: судья, непрременный член, казначей, стряпчий, винный пристав. А всех ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается, и никакого к ним уважения нет, откуп им копейки не дает, к самой даже Пасхе полштофа полугару не пришлет. И в гости их не зовут: разве когда из милости аль для счету. Не во всяком городе окружные есть да лесничие; а это люди первой статьи: окружной с исправником может вровень стать, помощник его да лесничий выше станового, чуть-чуть не исправниками смотрят.

А ежели насчет грехов, так их во всяком городе и во всяких чинах довольно... Про других не стану говорить, зачем осуждать?.. А про свои грехи для чего не рассказать?.. Всенародное покаяние очищает ведь их...

Вырос я в канцелярии; за приказным столом и состарился. А знал людей по одной только бумаге. Написано в деле: «В деревне Колосковой крестьянин Василий Сидоров», ну и знаешь, что есть на свете Ва-

сильий Сидоров. Явится он к тебе по делу, только и думы, как бы побольше сорвать с него. Не думаешь, будет ли Сидоров с семьей завтра ужинать, об одном помышляешь: губа-де у меня, у барина, к сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотит и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «С крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьев розгами наказан», и знаешь, что есть у Кондратьева спина. А не сидят ли у Миронова ребятишки без молока, зажила ль спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякого берешь, а себя праведником ставишь. Что ж? бывало, думаешь: по праздникам церковь божию не обегаю, попов с праздным принимаю, говею каждый год, в большие посты не скоромлюсь, нищим по силе помощи подаю, в тюремном комитете состою членом, ежегодные пожертвования на детские приюты, по письмам губернаторши, плачу исправно. Чего еще?..

Святым себя считал, а врага слушал. Шепчет, бывало, в душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денег у него, у шельмы, много, пуцай не забывает, что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги листом, а бумаги листок на руке легок, а выйдет из-под руки, так иной раз тяжелей каменной горы станет.

Раз были нужны деньги до зарезу: наличные в горку

спустил, праздники подходят, покойница-жена шляпки требует, салоп с кунным воротником ей подай, в губернское правление дань посылать срок две недели уж минул. Хотя в доме от мирского приносу всякого припаса и вдоволь, да надо хорошенького винца купить, не равно губернский чиновник наедет, не подашь ему мадеры деверье – шампанского подавай, да настоящего, по три целковых бутылка. Просто беда: как бредень ни закидывай, рыбешка не ловится. Что делать, как быть? А главное дело – губернское! Вовремя не представишь – шесть выговоров на неделе закатят, и пошел под суд, купайся там.

Почту получаю. Посмотрим, думаю, – нет ли благодетели. Подтверждений штук сорок, помечаю – «к делу». Пачка публикаций о сыске лиц и имуществ: ну, это известно дело – под стол, письмоводитель подберет, напишет: «на жительстве не оказалось», и конец. От губернатора предписания, да все пустяковые: статистику требует, да двух старых девок в консисторию на увещанье переслать... Объявления об умерших солдатах, о взысканиях, о скотском падеже, много всякой дряни, а путного нет ничего. – Эх, несчастная ты доля моя!.. Еще распечатываю: губернаторша еще раз пожертвовать в пользу детского приюта приглашает. «Нет, думаю, шалишь, ваше превосходительство, – не до твоих поросят свинье, коль ее самое

палят на огне». С горя да с печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за них принялся... Их, бывало, никогда не читаешь, только сбоку пометишь: «к сведению и руководству».

Десятка полтора прочел – ничегохонько... Вдруг, гляжу – милость-то господня! У циркуляра сбоку припечатано: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу Могилевской губернии». – Э!.. Не пггука – деньги, штука – выдумка!.. Вот она, благодать-то, где! С места даже вскочил, запел от радости: *Завтра услыши глас мой!*

«Лошадей! В Ермолино!..» – Приехали. – «К волостному голове!..» – Достучались. Вошли. Хозяйка в задней избе самовар ставит, а хозяин, стоя у притолоки, в кулак зеваает: на рассвете дело-то было.

– Что, говорю, Корней Сергеич, здоровенько ли проживаешь?

– Слава богу, говорит, ваше благородие, бог грехам терпит.

– Ну, слава богу, – дороже всего, говорю... Домашние что? Хозяюшка здравствует ли?

– Что ей делается?.. Вон с самоваром возится... Ишь надымила как в сенях-то!.. Грунька! Чего в углу-то налила?.. Эка дурь-баба!.. Дым сюда пройдет – у барина головка разболится.

– Ничего, говорю, Корней Сергеич... Ну, дочки что?..

Землемер-от, чать, недаром месяц у тебя выжил.

– Эх, ваше благородие, чего тут ворошить? Мало ль чего толкуют?.. Чужи речи не переслушаешь.

– Ну, да про это что? Девки молодые! По-вашему, может, так и надо. Парнишка-то что?

– Ничего, ваше благородие, растет. Часослов скончал, на второй кафизме сидит.

– Дело хорошее... А ведь я, Корней Сергеич, к тебе с повесткой... Читай-ка: человек ты грамотный. – И подаю ему циркуляр. А народ-от по захолустьям глуп: видит, печатна бумага, да сбоку «министерство» стоит – глаза-то у него и разбежались. Учен еще мало, знаете.

Прочел бумагу Корней, повертел в руках, на стол кладет.

– Мы, говорит, ваше благородие, люди слепые, – извольте приказать, какое тому дело есть.

– Что ты за слепой человек, Корней Сергеич!.. За чем на себя клепать? Читай-ка вот, сбоку-то: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу, Могилевской губернии». Видишь?

– Вижу, ваше благородие.

– А слышал ли ты про такую губернию? Про Могилевскую-то?

– Никак нет, ваше благородие, не слыхивал, что есть такая Могилевская губерния. Впервой слышу!

– Эта губерния за Сибирью, на самом краю света, – говорю ему. – И вся-то она, братец ты мой, состоит в могилах. А на тех на могилах гора, и на той горе школу, вот видишь, завели... Крестьянских ребятишек там ко всякому горю приобучают: оттого и прозвана «на горе горецкая школа». Понял?

– Невдомек, ваше благородие: ваши речи умные, да наши головы глупые.

– Да полно малину-то в рукавицы совать! Что в самом деле на себя клеплешь! У него и Власка кафизмы читает, а сам будто и печатного разобрать не может. Бери бумагу-то читай; не морочу ведь тебя... Печатное. Не сам же я печатал... Видишь? «Об отдаче малолетних крестьянских детей»... А ты читай сам!

Корней ни жив ни мертв: только пальцами семенит. Смекнул, куда дело-то клоню. А все-таки спрашивает:

– Какое ж тут до меня касательство, ваше благородие?

– Как какое касательство? Власке-то который год?

– Двенадцатый на Масленице пошел.

– Таких и требуется. Читай-ка вот.

– Нельзя ли помиловать, ваше благородие?

– Да как же я тебя помилую? По ревизским сказкам известно ведь, у какого крестьянина каких лет сыновья. Что ж мне из-за твоего Власки на свою голову беду брать... А?..

Замолчал Корней. Повесил голову, лицо пятнами пошло. А я себе прималкиваю, из сундучка бумаги вынимаю да раскладываю их по столу.

– Нельзя ли как помиловать, ваше благородие? – заголосил Корней.

– Как мне тебя миловать-то, Корней Сергеич? Своего, что ли, сына заместо Власки по этапу высылать? Так у меня и сына-то нет.

– Все в ваших руках, ваше благородие... Как бог, так и вы!.. Помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить.

Корнеева жена в избу вошла, знает уж, о чем дело идет. Повалилась на пол, ухватилась мне за ноги, воет в неточный голос на всю деревню. Услыхавши материн вой, девки прибежали, тоже завыли, тоже в ноги. А Власка, войдя в избу, стал у притолоки, сам ни с места. Побелел, ровно полотно, стоит, ровно к смерти приговорен.

– Душно что-то здесь, – молвил я Корнею, – на крыльцо выйду. Хочешь, вместе пойдем.

Вышли на крыльцо. Хозяйка почти без дыхания. Девки – было за нами, да Корней цыкнул на них.

Сел на крыльце, трубочку закурил, покуриваю себе... Говорю Корнею таково приятно да ласково:

– Избы не хочу сквернить этим куревом... Знаю, что старинки держишься, скитам веруешь... Так я на

крылечке, чтоб у тебя богов не закоптить... Садись-ка рядом, Корней Сергеич, потолкуем...

Потолковали. На пяти золотых покончили. Написал я Власку немым и увечным, в Горыгорецкую, значит, негодным.

С легкой Корнеевой руки у меня дело как по маслу пошло. Сколько ни было в стану богатых мужиков, – всех объехал, никого не забыл. Сулил могилы да на горах горе, получил за каждого парнишку по золотенькому, в глухие, в немые писал их... Мужики рады-радешеньки, отбивши такое великое горе. Всем праздник, а мне вдвое: у жены салоп и шляпка с белым пером, точь-в-точь как у вице-губернаторши; у любовниц, что в стану держал: у одной шелково платье, у другой золотная душегрейка; шампанского вдоволь, хоть на месяц приезжай губернские... А главное, в губернском правлении остались довольны: крепко, значит, на месте сижу.

Да-с, бывал я котком, лавливал мыштек.

Вся штука в том, что надо остроту иметь, чтоб показать мужику дело не с той стороны, как оно есть. Это у нас называлось «перелицевать». Кто мастер на это, будет сыт, и детки без хлеба не останутся. Закон, как толково ни будь написан, все в наших руках: из каждой бумаги хочешь – свечку Николе сучи, хочешь – посконну веревку вей... А мужик что понимает? Он

человек простой: только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко. Похнычет-похнычет – и перестанет.

А нет ничего прибыльней, как раскольники. Народ уж такой: обижаются даже на того, кто не берет. Кто взял, на того надеются, что не выдаст и все по-ихнему сделает; а кто не взял, того боятся, притеснителем обзывают, и пронесут имя его, яко зло – до самых высоких степеней... Такая уж вера у них: им шагу ступить нельзя, чтобы чего-нибудь супротивного закону не сделать. Паспортов, по-ихнему, не надо, для того, что антихристову печать означают. Оттого беспаспортным у них пристанище, к тому ж без беглых им во всем невозможно: попы ли, большевики ли ихние, народ все «скрывающийся», попросту сказать – беглый. А это нашему брату и на руку. У меня в стану скиты были – дно золотое.

В каждом по десяти, по двенадцати обителей, в каждой обители настоятельница, стариц и белиц штук пятьдесят и побольше. Это «лицевых», значит, таких, что с паспортами живут. Кроме того, «скрывающихся» много. Каждая настоятельница за «лицевую» в год золотых по два платит, а за «скрывающуюся» меньше тридцати взять нельзя. А у богатых раскольников еще такое заведение есть, что ежели купеческой дочке пошалить случится и она тяжела станет, ее посылают

в скиты, будто бы к тетушке там какой-нибудь пого- стить, в своем-то бы городе огласки не было, женихи бы после не обегали. Тут, бывало, пожива хорошая: девка-то придет с деньгами, с нее за то, чтоб деви- чьей тайны не огласить, а ребеночка принесет – след- ствия б не производить!..

Большой праздник подходит: изо всех обитателей к тебе с подносами: к Пасхе – на куличи, к Петрову дню – на барана, к Успенью – на мед, к Покрову – на брагу, к Рождеству – на свинину, к Масленице – на рыбу, к Великому посту – на редьку да на капусту.

А то еще за сборами по городам матери ездят. При- едут перед зимним Николой, воротятся к благовеще- ньеву дню... Едучи в путь, приходят паспорта явить... Со сбора воротятся, опять являются – и чего тут, бы- вало, не натащат. Котора в Саратов ездила – рыбы да икры, котора в Казань – сафьяну на сапоги, котора из Екатеринбурга приехала – нельмы-рыбы да печаток из камней самоцветных, с Дону – балыков, из Москвы – сукна, материй разных, всякого, значит, фабричного дела. Самому ни съесть, ни износить, лишки нужным людям в губернию шлешь... Они довольны, и оттого насчет неприятностей опасения не предвидится.

В скит приедешь – угощение тут тебе богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за стол с чиновни- ками, что прихватишь с собой разгуляться, матери во

всем чину у дверей стоят в венцах, во иночестве, – шапочка такая плисовая у них есть, иночеством зовется! – на плечах у всех манатейки – пелеринки, этикие черные с красной выпушкой. У каждой в руке лестовка: стоят смиренно, глядят умильно, речь ведет одна игуменья, да разве еще келарь, стряпка значит, примолвит: «милости просим», когда на стол нову перемену ставит. Рядовые старицы только вздыхают да молитвы про себя шепчут. Белиц тут не бывает, – те по светлицам сидят. И велишь, бывало, матерям пить, ихним же добром их угощаешь. Хоть все они, кроме престарелых, до винца и охочи, – а спервоначалу тоже блюдут себя, церемонятся. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки... Перепьются, потому что не смеют послушаться...

Тогда к белицам в гости. А белицы бывали хорошие, молодые, красивые, полные такие да здоровенные – кровь с молоком. Ходят чистенько: юбки, рубашки миткалевые, кофточки полотняные... При сторонних в черных сарафанах с цветными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по светлицам: там они сидят, бисерны кошельки вынизывают, шелковы пояски ткут, по канве шерстями да синелью вышивают... Такая тут возня пойдет, что без греха никогда, бывало, кончиться не может... Насчет этого слабеньки...

А ведь их винить нельзя. У крестьянской девки хоть

много работы, да в году три радости есть: на Масленице покататься, на Святой покачаться, на Троицу венки завивать. А келейны белицы тяжелого дела не знают, снуют целый день из часовни в светлицу, из светлицы в часовню, каноны читают да кошельки вяжут – вот и работа вся. А едят сладко, спят мягко, живут пространно, всякому пальчику по чуланчику – дурь-то в голову и лезет. По-ихнему же это и не грех, а только падение: без греха, слышь, нет покаяния, а без покаянья и спасения нет. Потому девице и дозволено согрешить, было бы в чем каяться и тем спасенье получить. Такая уж вера.

А когда благодетели, значит богатые купцы, придут в скит, тут не то... Не тем обитель смотрит, точно в самом деле истинное благочестие в ней обитает. Поведут матери благодетеля в часовню, там старицы стоят чинно, рядами, в полном чину, на венце у каждой креповая «наметка», все лицо она покрывает. Везде лампадки, везде свечи горят. В середине стоит «уоставщица», смиренно в землю глаза опустив, внятно читает старинные книги. Чистыми, звонкими головами стройно белицы поют по крюкам, демественным разводом. Кланяются разом, перед земными поклонами бросают на пол подручники разом, поднимают их разом, лестовки перебирают разом. Слова стороннего не молвят, в сторону не взглянут – да этак часов

пять либо шесть сряду. Благодетель-от упарится, ума-ется и сам себе думает: «Вот оно где благочестие-то, вот она где старая-то вера!..».

И пригоршнями благостыни отвалит... А домой придет, братье своей зачнет говорить: «Видел я, братия, скиты... Уж такое там благолепие, уж такое там благочестие: истинно земные ангелы, небесные же человеки». А небесные человеки – только что благодетель вон из скита, на радостях от хорошей выручки, – старицы за рюмочку, а белицы за мила дружка за сердечного.

Благодетели на каноны и на негасимую денег скитницам пересылают много. Ежели где-нибудь, хоть в дальнем каком городе, богатый раскольник умрет, родственники посылают милостыни «на корм братии». Те деньги идут настоятельницам, у них в каждой обители общежительство: пьют, едят на общий счет. Кроме того, на «негасимую свечу» присылают, значит, чтоб читать Псалтирь по покойнике денно-нощно шесть недель, либо полгода, либо год, глядя по деньгам, и каждый день петь «канон за единоумершего». Иной раз придется рублев по пяти на скитницу, богачи-то присылают на все скиты тысяч по десяти, на ассигнации... Дележ бывает в скрытности, oprичь игумений да каких-нибудь знатнеющих, никого тут не бывает... А сборы им законом воспрещены; потому они

завсегда у нас в руках.

Случится узнать, – привезли панафидные деньги и будут делить в такой-то обители. Поедешь, бывало; но как ни придешь – ничего не застанешь, а по всему видно, что вот сейчас из кельи вон разбежались... Когда и вовремя попадешь, да у них в скитах дома нарочно такие построены: ходы в них да переходы, темные коридоры, чуланы да тайники, скрытные проходы меж двойными стенами, под двойными полами, и подземные ходы из одной обители в другую есть. Им без того нельзя, – такая уж у них вера, что вся на беглых стоит. Прячут их в тайниках-то в случае надобности.

Раз мне удалось на дележ попасть. Узнал, что из Сибири большую сумму привезли и будут делить у матери Иринархии в обители. На ту пору был я у матери Иринархии по какому-то делу, а у нее купеческая дочка из Москвы жила и со мной, грешным делом, по тайности в любви находилась. А скитские девки, я вам доложу, беда какие неотвязчивые; ежели с которой сошелся, требуют, чтобы в гости жаловал, а ежели долго в ските не бывал, плачет, укоряет – забыл-де меня...

– Знаешь ли что, – говорю возлюбленной своей, – ведь у вас завтра собрание будет, а мне больно хочется посмотреть на него. Я бы сегодня так сделал, будто уеду из скита, а сам у тебя в светлице останусь, ты мне ихнее-то собрание из тайничка и покажешь.

Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что целые сутки у ней в светлице пробуду... Велел я письмоводителю мою шубу надеть, да чтоб по голосу его не признали, приказал ему пьяным быть, и вышло так, будто я напился до бесчувствия, и меня, положивши в сани, из скита вон увезли. Целые сутки пробыл я у Варвары Абрамовны, а под вечер через тайничок вниз спустился и стал возле Иринархиной кельи. Дырочка там проверчена: все видно.

Собрались матери, приказчика привели, что деньги привез, помолились, письма прочитали, канон за умершего пропели, кутьи поели и уселись – деньги делить. Самая полночь была. Только что деньги на стол они разложили, я из тайника да середь честной компании и стал.

– Здорово ль, говорю, поживаете, преподобные матери?.. Что ж меня-то в долю не принимаете?

Заметались. А при мне охотничий рог был. Затрубил... Сотские да рассыльные – а им наперед велено было тайным образом к ночи вокруг обители собраться – голос стали подавать.

– Слышите, говорю, матери? Мои-то молодцы русака в скиту учуяли! Да не ты ли русак-от, почтенный? – говорю приказчику. – Кажи паспорт!

– Паспорта нет; в городе на квартире, говорит, покинул.

– Это мне все равно. Ежели при тебе паспорта нет, милости просим в кутузку.

– Да я, говорит, купеческий сын.

– А хотя ты и купеческий сын, да есть пословица: от тюрьмы да от сумы никто не отрекайся. Сидят в тюрьме и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

Так да этак, смиловался я, отпустил приказчика. Три тысячи на ассигнации мне досталось. Читали ль матери заказной Псалтирь, нет ли – того не знаю.

А уж как легковверны они, так просто на удивленье! Жила в Чернушинском ските средних лет девка, звали ее Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитские порядки знала да скружилась, – ее и прогнали. В город переехала. Сайки на базаре продавала, с печенкой у кабака сидела – перебивалась этакой торговлей. Познакомилась она с отставным солдатом Ершовым, что лет с десятков при земском суде в рассыльных был, по всему уезду знали его. Запивать стал – потерпели-потерпели, однако выгнали наконец. Приходит он к Коровихе, на судьбу плачется, «не знаю, говорит, что и будет со мной; удавиться думаю, хуже будет, как с голоду помру». Посоветовались – да и придумали штуку! Обрезала Коровиха косу, добыла где-то вицмундир, чиновником оделась, орден св. Станислава на шею надела. Достали лошадей; Коровиха в сани, Ершов на козлы да ночным временем в скит,

только не в тот, где Коровиха жила, а в другой, где не знали ее. А по уезду еще не было известно, что сменен Ершов, и он по дороге рассказывает, что послан исправником при чиновнике, что по раскольничьему делу из Петербурга приехал. Перед Коровихой все шапки ломают; видят, барин большой: крест на шее.

Приехали. Разбудил Ершов настоятельницу: «Вставай, говорит, скорей, мать Евфалия: беда твоя до тебя дошла. Чиновник из самого Питера приехал. Чуть ли часовню не станет печатать». Евфалия заохала, Ершов ей свое:

– Меня, говорит, исправник нарочно с ним послал, чтоб тебе, по силе возможности, какую ни на есть помощь подать.

– Кормилец ты мой!.. – завопила Евфалия. – Помоги ты мне старой старухе, а уж я тебя не оставлю... Заставь за себя бога молить! – А сама меж тем Ершову в руки зелененькую.

– А ты вот что, мать Евфалия, – говорит Ершов, – сделайся-ка с ним, как знаешь; поблагодари его честь. Исправник велел сказать, что он подходящий, благодарить его можно.

– Дай бог здоровья его высокородию Петру Федорычу, – говорит Евфалия, – что на разум наставляет меня старую да глупую.

А чиновник-Пелагея уж в келье... Очки на носу, бу-

маги разбирает. Вошла к нему мать Евфалия ни жива ни мертва.

– Как тебя звать? – крикнула ей Коровиха.

– Евфалия грешная, ваше превосходительство.

– По отце?

– То есть по-белически-то зовут меня Авдотья Маркова; а это значит по-иночески: Евфалия грешная.

– Да разве ты смеешь иноческим именем называться? – закричала Коровиха и ногами затопала.

Да приподнявши платок, что Евфалия на себя в ро-спуск накинула, увидала под ним и манатейку и ве-нец... Пуще прежнего закричала:

– Это что такое? Это что надето на тебе?.. Не зна-ешь разве, что за это нашу сестру в острог сажают? В кандалы старую каргу, – крикнула Ершову Коровиха, – в острог ее, шельму, вези!

– Слушаю, ваше превосходительство! – говорит Ер-шов.

– Подай из саней кандалы! – крикнул он, выйдя в сени, извозчику.

Ровно гром грянул в обители: в ногах валяются, ми-лости просят. Тут и промахнись Коровиха.

– Давай, говорит, десять целковых да штоф пенни-ку.

Тотчас принесли и деньги и пеннику... Только тут все и поусумнились: что ж это за важный чиновник,

коль за дело, что тысячи стоит, только десять целковых потребовал... Опять же ни мадеры, ни рому, ни другого дворянского пойла ему не надобно, а вдруг подай пеннику! Неподалеку от скита исправник в то время на следствии был. Ему дали знать, тот нагрязнул. Входит в келью, а Коровиха с Ершовым, штофик-от опорожнивши, по лавкам лежат. Так и взяли их в вицмундире и с крестом на шее. По суду три года в рабочем доме потом просидела.

Чего в тех скитах не творилось! Да вот хоть про друга моего, про Кузьку Макурина рассказать. Был он из удельных крестьян, парень еще молодой. Отец у него кузнечил, а когда помер, довольно деньжонок сыну оставил, и дом – полную чашу, и кузницу о двух наковальнях. Неразумному сыну родительское богатство впрок не пошло; не понравилось Кузьке ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловал; захотелось ему белоручкой жить – значит, от кузницы подальше, меньше бы копоты было. Годика в два родительское добро все до нитки спустил. К винцу да к сладкой еде привык, а в мошне-то пусто. И почал деньги ломом да отмычками добывать. Раз пять попадался, да каждый раз по суду в подозрении только оставляли. Поймали наконец на деле, в солдаты приговорили, потому что недели до совершенных лет у него не хватало.

На другой же день, как сдали его, он бежал. По деревням проживать опасно было, – он в скиты. Пришел к матери Маргарите: «Бегаю, говорит, от антихриста, и ты, матушка, меня в стенах своих сокрой».

Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный двор в работники. Тут он зажил припеваючи: сыт, пьян, одет, обут... А главное, живучи под крытльштком Маргариты, никого не бойся, даром что беглый... Мы с ней жили в добром согласии. Иногда разве что скажешь ей: «Кузька-то у тебя больно пространно живет, спрячь его до греха». Ну и припрячет.

Кузька со мной подружился через то, что Маргаритину племянницу Евпраксию Михайловну мне предоставил. Изо Ржева была, купеческая дочка – с офицером провинилась, ее и послали к тетке стыд прикрывать. Скитское житье ей по нраву пришлось – осталась в кельях... Ну, Кузька, спасибо ему, помогал, очень даже помогал. Оттого и завелась у меня дружба с ним.

Неспокойный был человек. Чем бы, кажется, не житье ему было у матерей? Так нет, пакостить начал и скитниц мне выдавать. Шепнет, бывало: «Приходите, ваше благородие, тихими стопами ночью под Успенев день к матери Феозве в моленную; беглый поп приехал, в полотняной церкви станет служить».

Нагрнешь, во всем чину службу застанешь. «Это

что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забегают, ровно мыши в подполье: котора антиминс за пазуху, котора сосуды в карман, с попа ризы дерет. А поп ровно хмельной, сам шатается, а норовит в угол, чтоб оттуда в тайник да скрытыми переходами в другу обитель, а оттоле в лес. Знал я эти штуки-то: «Нет, говорю, отче святой, от меня не улизнешь, знаю я ваши мышинные норки, а протяни-ка ты лучше стопы свои праведные, вон сотский-от хочет кандалы на тебя набивать».

Старицы в ноги.

– Батюшка, ваше благородие, положи гнев на милость!

– Дам я вам милость, говорю: вяжи всех да подводы под них снаряжай... Всех в острог.

А они:

– Помилосердуй, милость на суде хвалится.

– Дам я вам милость!.. Вяжи всех да гаси свечи: часовню-то запечатаю.

А сам из кармана шнурок, печать да сургуч. Всегда при себе держал: страх внушают.

– Да заставьте же, ваше благородие, за себя бога молить, – вопят старицы, – помилосердуйте!..

– Да что вы, говорю, пристали ко мне?.. Ничего не могу сделать, губернатор предписал. Сами знаете: твори волю пославшего.

– Да все в твоих руках, батюшка, ваше благородие!..

Как бог, так и ты!..

Дали. Попа в кибитку, а мы к Феозве чай пить да с белицами балясы точить.

Проведает Кузька: под моленну новы столбы подвели; скажет. Приедешь в скит, найдешь починку, запечатаешь моленную. Пообедаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.

А на Кузьку ни одна из матерей подозрения не имела. Думают: «Свой человек, состоит по древнему благочестию, как же ему Иудой-предателем быть». А в своей обители у Маргариты пакостей он не творил.

Несдобровал, однако, у скитниц мой Кузька: очень уж безобразную жизнь повел, стали матери им тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скит сожжет. Напился он раз с попом Патрикием донельзя и зачал спорить с ним о божественном. Спорили они, спорили – Кузька в ухо попа: «я, дескать, тебя, ревнуя по истинной вере, аки Никола святитель Ария – заушаю!..» А поп-от через день возьми да богу душу и отдай... Следствия не было: беглый беглого убил, оба люди не лицевые. Так оно и заглохло.

После того его и прогнали. По деревням шататься стал где день, где ночь. Тяжело пришлось житье: в водке вкус позабыл. Конокрадством вздумал промышлять, да на первой клячонке попутал грех: поймали Кузьку, – ко мне.

– Что, говорю, попался?

– Попался, говорит, ваше благородие, такая уж судьба моя проклятая!.. А у меня до вас есть секрет.

– Какой?

– Важный секрет, ваше благородие. Могу сказать только один на один... Потому секрет по первым двум пунктам, государственный секрет, ваше благородие...

Пошли в боковушку. Сказал.

Вышли мы с ним в канцелярию, стал я с Кузьки показание снимать.

– Зовут меня Иваном; как по отце и чей родом, не помню, скольких лет, не знаю; грамоте российской читать и писать умею, в штрафах и под судом не находился, по девятой ревизии покуда никуда не приписан, движимого и недвижимого имения за мной нет, никакого определенного промысла или занятия не имею, а прибыв в прошедшем году в здешний Пискомский уезд, занимался деланием фальшивой монеты. На такое ремесло был склонен торгующим по свидетельству третьего рода крестьянином Марком Емельяновым, каковой Марк Емельянов и научил меня, с помощью собственных его инструментов, как российскую, так и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, из опасения подозрения и законного по суду воздаяния в случае открытия, производили мы в разных местах... – После того и пошел

перечислять мужиков, что самые богатые были. Во свидетельство представлял два фальшивые талера и старинный целковый, тоже фальшивый. – И сильно скорбя о содеянном преступлении и жестоко мучась угрызением совести, решился я в присутствии вашего благородия чистосердечно объяснить о содеянном мною преступлении, что вы уже и слышали от меня. Имею неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказание и, предаваясь в волю закона, прошу со мною учинить, что правосудие повелевает.

Сделав такое показание, Кузька бойко подписался по всем статьям: «К сему показанию Иван, не помнящий родства, руку приложил».

Велел я заковать Ивана Непомнящего и поехал с ним да с понятыми к Марку Емельянову. Обыск произвели – ничего не отыскали. Марк, известно дело: «Знать не знаю, ведать не ведаю, впервой того человека и вижу». Поставил их на очную ставку.

Кузька говорит:

– Побойся бога, Марк Емельяныч, как же ты меня не знаешь? Да не я ль у тебя две недели выжил? Да не ты ль меня учил монету делать? Да не ты ль хвалился, что сделаешь монету лучше государевой?

Марк и руками и ногами, а Кузька ему:

– Нет, постой, Марк Емельяныч, у меня ведь улика

есть.

– Какая улика? – спрашивает Марк Емельянов.

– А вот какая: прикажите, ваше благородие, понятым в избу войти.

Я велел, Кузька и говорит им:

– Вот смотрите, православные, под этой под самой лавкой я гвоздем нацарапал такие слова, что с 1 по 22 октября с Марком Емельяновым вот в этой самой избе я триста талеров начеканил.

Посмотрели под лавку, – в самом деле те слова нацарапаны.

Взять было Марка – в острог сряжать, да сладись. От него к другим богатым мужикам поехали... И всех объехали. А как объехали всех, велел я Кузьке бежать, кандалы подпиливши, сам и пилочку дал ему. Дело заглохло.

А Кузька, извольте видеть, когда по деревням шатался, надписи такие у богатых мужиков царапал. Попросится ночевать Христа ради, ляжет на полу, да ночью, как все заснут, и ну под лавкой истории прописывать.

После того Кузька попом сказался и до сих, слышь, поп попит. Есть на рубеже двух губерний, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина – в одной губернии, другая – в другой. В той деревне мужичок проживал, Левкой звали – шельма, я вам доложу,

первого сорта, а промышлял он попами. Содержать беглых попов на губернском рубеже было ловко: из Троеславской губернии нагрянут – в Хохломскую по-па, из Хохломской – в Троеславскую его. Левку все раскольники знали, от него попами заимствовались. С этим самым Левкой и сведи дружбу Кузьма Макурин – днюет и ночует у него, такие стали друзья, что водой не разольешь. Рыбак рыбака далеко в плесе видит, а вор к вору и нехотя льнет.

Лежит раз Кузька у Левки в задней избе на полатах, а поп, под вечер взъехавши к Левке да отдохнувши после дороги, сидит за столом. Избу запер, зачал деньги считать, что за требы набрал по окольности. Смотрит Кузька с полатей, а сам тоже считает: считал-считал и счет потерял. Слез тихонько с печи, отомкнул дверь, вышел – поп не видит, не слышит... Кузьма в переднюю...

Будит Левку: «Вставай, говорит, дело есть». – Левка встал, Кузька ему говорит: «Поп деньги считает, я подсмотрел. Такая, братец, сумма, что за нее не грех и в тюрьме посидеть. С такими деньгами, Левушка, век свой можно счастливу быть, на Низ можно сплавиться, в купцы там приписаться».

Соблазнил.

– А видывал ли когда тебя отец-то Пахомий? – спрашивает Левка.

– Отродясь, – говорит Кузька, – не видывал.

– Делай же вот как да вот как.

Пошли приятели в заднюю, где поп-от свои дела правил... А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтоб Пахомию не подать сомнения, Левка постучался, входную молитву творя.

– Аминь! – ответил поп из избы. – Кто там?

– Я, батюшка, отец Пахомий, хозяин.

– Сейчас, свет, отопру... Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!.. Забыл, видно, запереть, вот ведь память-то какая у меня стала.

Вошли Левка с Кузькой. А деньги у попа уж припрятаны. Начал положили у Пахомия, простились и благословились.

– Вот, батюшка, отче Пахомие, – говорит Левка, – наш христианин, именем Косьма, исправиться желание имеет, давно мне кучился свести его к иерею древлего благочестия.

Кузька в ноги попу: «Прими, говорит, отче святой, на дух».

– Бог благословит, чадо, – ответил Пахомий, – время теперь тихое, исправлю, пожалуй.

Левка вышел, Пахомий епитрахиль надел, требник на налой положил. – «Клады начал!» – говорит.

Положили начал. Лег Кузька ничком, Пахомий ему голову епитрахилью покрыл и начал «исправу»:

– Рцы ми, чадо Косьмо...

А Кузька поднял голову, говорит ему:

– Отче святой, совесть-то моя очень сумленна, – рцы ми прежде: по отлучении от великороссийские церкви принял ли ты «исправу второго чина» с проклятием ересей?

– Нет, чадо, – говорит Пахомий, – исправе второго чина и проклятию ересей аз грешный по правилам не подлежу, того ради, что и крещение имею старое и рукоположение старое.

– А где ж ты старое-то рукоположение сыскал? – спросил Кузька, став на ноги перед Пахомием. – Кто тебя в попы-то ставил?

– Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, ведай, яко имамы ныне архиереев древляго благочестия. Начало же сему произволению бысть сицевое.

– Ну, послушаем, пожалуй, какое тут у вас было произволение, – молвил Кузька, садясь на лавку.

– Садись и ты, отец Пахомий, рассказывай, какое было произволение.

– Есть, мой свет, киновия Белокриницкая. И сперва обитаема была едиными токмо мнихами, священных же особ в себе не имела, ныне же божиею к нам милостию получила архипастыря. Все несумнящиеся о сем христиане, елико обретается их в поднебесной, в том уверены. Та киновия, влекуще семя свое от древних

оних кубанцев, рекше некрасовцев, зашедших туда с большим количеством народа, с женами и детьми. И тако сии вышереченные кубанцы, рекше некрасовцы, поселишася в Туречине, по реке Дунаю, и во упражнении своем занятием рыболовства...

– Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дело. Какое произволение-то было?.. Кто тебя в попы-то поставил?

– Внимай, чадо Косьмо, дивному промышлению и не борзися... Сим бо случаем дивная вещь содеяся и памяти достойна.

– А ты лишняго-то не мели, сказывай, кто таков?

– Аз многогрешный прежде был господским крестьянином и немалое время находился приставником при псовой охоте. Обаче распалихся желанием иерейства, оставя господина, приидох к епископу нашему Софронию и молих его, да поставит мя во иерея. Он же по многом испытании рукоположи мя у единого мужа благочестива, на пчельнике, и даде ми одикон, рекше путевой престол, и церковь полотняную.

– Так ты, попросту сказать, беглый псарь?

– Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрешения...

– А ведь ты мошенник, отец Пахомий! Из псарей в попы на пчельнике поставлен!.. Ай да святитель!..

Знаю Софрона-то я. Ведь это Степка Жиров, что в Москве постоянный двор в Вороньем переулке держал, что попа Егора утопил?.. Знаю, все знаю, и другого вашего пастыря знаю, Антония, что прежде Шутовым прозывался. Так ты из этаких!.. А сколько ты, собашник, христианских-то душ погубил, их исправляючи? Да знаешь ли ты, что твое место в Сибири?

Хвать его за честную браду и «караул» закричал. Левка с веревкой вбежал, скрутили попа, вытащили его на улицу, сбежался народ: кто за попа, а кто кричит: «Вези его в город!..» Кутят ему Кузька в полы-то положил: «Вот, говорит, твои прихожане!» Поглумились этак над Пахомием и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь скарб у Левки остались.

На другой день приходит уставщик от Пахомия. «Деньги-то, говорит, возьмите, подавитесь ими, окаянные, ящик-от только отдайте... Без него отцу Пахомию никак невозможно...»

– Эка что вздумал!.. – молвил Кузька Макурин. – Да я такого ящика пятый год добиваюсь. Пойду на Урень, – сторона глухая, народ слепой, – стану попить не хуже твоего псаря. Так ему и скажи.

Заплакал инда уставщик: за ящик-от Софронию никак тысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

Вскрыли ящик: там и одикон, и полотняная церковь,

и прочее, что нужно, и ставлена грамота.

– Эка умница этот Жиров! – молвил Кузька. – Не пишет примет в ставленной-то... Хоть я Пахомию во внуки гожусь, а с этой ставленной могу и Пахомием быть. Прощай, Левушка, – деньги все себе бери, с меня и ящика довольно. Вот каким попом буду, сам ко мне на исправу придешь... Приходи, Левушка: все грехи отпущу и гроша не возьму.

Так и поделились. Левка с деньгами на Низ уехал, – и там расторговался. А Кузька за Пахомию и до сих пор попит...

Так вот с какими я людьми хороводился! Вот какие дела дельвал! Да мало ль чего не бывало... Всего не перескажешь.

Ничего в свое время не огласилось, пред судом человеческим ничего не явилось. Но все было ясно пред неумытным судиею... И послал он мне наказание достойно и праведно.